

18+

КАТЕРИНА ШПИЛЛЕР

---

# Дочки-матери

НАУКА ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ



Катерина Шпиллер

**Дочки-матери**

«Издательские решения»

**Шпиллер К.**

Дочки-матери / К. Шпиллер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-510454-0

Любой малыш обожает мать — безусловно и беззаветно... Почему-то многие, очень многие думают, что и материнская любовь так же безусловна, ведь она практически инстинктивна. Фигушки! Всё не так. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-510454-0

© Шпиллер К.  
© Издательские решения

## Содержание

Пролог	6
Кончить с кайфом	7
Главный мужчина	9
Вражьи происки	11
Публика – дура. Дети – зло. Пьянству – бой?	17
Оргазмы шестидесятников	21
Прототип высказывается	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Дочки-матери

**Катерина Шпиллер**

*Галине Щербаковой с признательностью  
за вдохновляющую ненависть  
и науку конвертации  
этого чувства в успешное творчество*

© Катерина Шпиллер, 2020

ISBN 978-5-0051-0454-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Пролог

Маленький человечек смотрит на мать, как на божество, он обожает её – за тепло, родной запах, сладенькое молочко из груди, нежные и сильные руки. Он обожает её любую, лишь бы была рядом, лишь бы носила на руках, пела песенки и щекотала животик. Ребёнок растёт, а с ним растёт и чувство любви к матери, опять же – любой, лишь бы была. Любой малыш обожает мать – безусловно и беззаветно...

Почему-то многие, очень многие, может быть, большинство думают, что и материнская любовь так же безусловна, ведь она практически инстинктивна. Чаще всего – да. Но далеко не всегда.

«Как? – возмутятся несведущие, – материнская любовь первична, именно из неё рождаются ответные чувства у малыша». Фигушки! Всё не так. Да, природой было предусмотрено, что материнское чувство – сильнейшее и именно оно, такое страстное и даже безумное – залог выживания младенцев, гарантия того, что малышей сохранят и вырастят. Природа-то так захотела, а вот у некоторых людей уже давно что-то поломалось. Многие женщины утратили этот основополагающий инстинкт, а «сапиенс», который является смыслообразующим определением нашей разновидности всевозможных гомо, почему-то не включился, вот и не научились такие мамочки любить хотя бы «по-сапиенсному».

Чего только не напридумывали подобные фемины, чтобы объяснить и оправдать своё паршивое отношение к собственным детям! Тут и карьерные соображения («почему это мужчинам можно, а нам нельзя – ну, не хочу я возиться с детьми и имею на это право!»), и синдром хронической усталости («я вам что, прислуга в доме?»), а в последние годы ещё и невежественное преломление научных достижений («у ребёнка не моя генетика, видимо, от родни мужа, представляете, лежит в колясочке и смотрит на меня чужими глазами»).

А как же дети? Они любят своих нравственно уродливых мамочек изо всех сил, сколько могут и до тех пор, пока их чувство не будет полностью вытравлено их собственными матерями. Дети страдают и мучаются, когда не получают положенную им ласку и душевное тепло, они даже начинают болеть от этого... А потом... потом они тоже перестают любить своих мам. И это совершенно логично, хотя и противоестественно. Малыш не понимает, за что собственная мама его не любит, для него рушится мир, и он начинает очень плохо думать о себе самом. Ребёнок не имеет возможности ходить за советом к психоаналитику или хотя бы к умному другу. Он мучается тихо, молча, один во всём огромном свете, в котором он, похоже, совсем никому не нужен.

Повзрослев и осознав материнскую нелюбовь (ненависть осознается быстрее, а вот на понимание нелюбви иногда требуются долгие годы), такой человек чувствует потребность заместить свою прежнюю любовь к матери каким-нибудь другим чувством. Весьма нередко им оказывается ненависть. И не смейте осуждать этих несчастных (ненависть еще никого не сделала счастливым), не смейте причитать «онажемать» – это глупо и безнравственно. Если можете, посочувствуйте им, не можете, промолчите и попробуйте подумать. У некоторых это получается.

А пока вы будете сочувствовать, или молчать, или даже думать, почитайте историю о том, как свою материнскую нелюбовь можно очень даже выгодно использовать в своих интересах, например, писательских.

## Кончить с кайфом

*«...О любви, которая есть истинная жизнь, и о войне, против которой надо бы нам восстать. Всем миром наших душ – кошек, собак, птиц, возможно, даже рыб. Вот про кур – не знаю. Иначе зачем мы? Воистину – зачем?»*

Антония долго и с наслаждением ставила жирную точку вопросительного знака, можно сказать, рисовала её, впечатывала в бумагу сильным нажатием руки. Потом отложила ручку и устало пристроила ладони на рукописи. Она прикрыла глаза, глубоко вздохнула и начала обратный отсчёт ожидания неги и кайфа, которые посещали её всякий раз в самом конце работы. Следом, чуточку позже, приходят ещё и тревога с напряжением, но это через какое-то время. Сначала появляются нега и кайф. И чувство удивительного удовлетворения, гордости собой. Прделана огромная работа. Здесь, в этой толстой пачке чуть желтоватой бумаги, теперь живут и дышат её... нет, не персонажи, это не главное, её чувства и страсти, её любовь и ненависть, огромная часть её самой. Она с нежностью поправила слегка загнувшиеся уголки самого последнего листа, на котором только что чуть не проделала дырку, изображая точку. «Лапочка моя!» – с нежностью прошептала рукописи Антония, уже почувствовавшая «прибытие» кайфа.

Завтра... завтра она попробует начать перечитывать. Не вычитывать, нет – сначала Масик должен набить двумя пальцами весь текст в эту адскую машину – в компьютер, потом распечатать на орущем омерзительном принтере... и только после будет окончательная вычитка. После Масиковой правки. Она полностью доверяет Масику – он отличный редактор и грамотный зануда... Ужасно тягучая, придиричивая зануда! Иногда как прицепится к слову и давай бляеть: «Ну, откуда ты, белочка моя, взяла это слово-то? Его читатели не знают, им словарь понадобится, они будут раздражаться на автора, который употребляет такие слова... – нудит, нудит, а сам смотрит робко и испуганно, знает, что ему сейчас влетит, но сущность его – Редактор Редакторыч – промолчать не может, дрожащим голосом, а проблеет... Антония, разумеется, выдаёт по полной: мол, пушай эти животные просвещаются, лишний раз полазить по словарям никому не вредно, а слово такое есть, и никто этому народу не виноват, что он свой собственный язык забывать начал. Ну, да, слово мудрёное – «исполать», к примеру... А чем плохо-то узнать новое слово? То есть, старое, но для невежественного читателя очень даже новое.

Масик выслушает, мелко и быстро кивая, соглашаясь заранее с каждым её аргументом, и на том его претензии практически закончатся. Он уже давно усвоил, что имеет дело с живым классиком современности, которого если и браться редактировать, то затаив дыхание, встав навтыжку и салютуя под козырёк. То есть, бережно, нежно, с экивоками, а лучше вообще ничего не трогать. Классика же.

Но завтра она ему пока что не отдаст рукопись для набора текста в компьютере. Ещё разок надо будет пробежать по ней глазами... хотя бы наискосок. Есть моменты, смущающие... требующие возвращения и, возможно, заострения. Или напротив – сглаживания. Уж слишком с сердцем она писала некоторые куски, не пересолила ли эмоциями и словечками? Но это завтра...

Шея, как обычно, затекла от трёхчасового сидения за письменным столом, правая кисть чуть ноет из-за писчего спазма. Да, она в конце первого десятилетия 21-го века пишет ручкой, не пользуясь никакими машинками или, не дай бог, компьютером. В этом её особенная гордость, ведь такой труд сразу становится ещё и немножко физическим – в смысле тяжести.

– Почему вы не печатаете на компьютере? – часто и с огромным удивлением спрашивают её молоденькие журналисты, берущие интервью у старой писательницы, и обалдело глядят

на её совершенно архаичный письменный стол, заваленный бумагами, амулетами, маленькими сувенирчиками вперемежку со святыми книгами типа Библии.

Антония в таких случаях таинственно похрустывает пальцами, снисходительно улыбается глупости и непонятливости юных гостей.

– У бумаги, деточка, особенная энергетика, – терпеливо и ласково объясняет она. – Что такое техника? Техника бездушна и глупа. А у меня через обычную ручку с бумагой, которая, между прочим, когда-то было тёплым деревом, живым и животворным, устанавливается, если хотите, астральная связь, проводимость, которую я ощущаю через особое тепло... Я транслирую бумаге свою душу, а она, в благодарность, даёт мне силы и порой вдохновение. Вы даже не представляете, как это сказывается на конечном продукте, на литературе!

Юнцы кивают, обескураженные. Порой в их глазах явственно читается вопрос, что а почему бы тогда не использовать гусиное перо и чернила, которые ещё «теплее» и «проводимее», чем банальная дешёвая шариковая ручка, но ума хватает таких вопросов не задавать. Потому что в этом была бы некая подковырка, а начинающие журналисты справедливо не дают себе права подковыривать уважаемую и известную старую писательницу. Хотя Антония готова была бы и к этому подлому вопросу, он абсолютно был бы логичен и оправдан. Она ответила бы элегантно и остроумно: «Нынче не делают качественных гусиных перьев для письма, в противном случае я непременно воспользовалась бы именно ими».

Нега и кайф заполнили тело. На какую-то секунду даже показалось, что ей не так много лет, а существенно меньше, что она сейчас легко может вскочить со своего скрипучего вертящегося креслица и, крикнув «эх!», сбавить нечто вроде рок-н-ролла... Впрочем, танцы и в молодости не были её сильным местом. На танцплощадках, чтобы не терять лица, приходилось делать презрительную гримаску (вот уж на это она всегда была мастерицей!) и, окидывая насмешливым взглядом лихо отплясывающих подружек, изрекать нечто вроде «Дрыганье ногами – удел недалёких куриц!». Поскольку она была лидером, отличницей и уважаемой активисткой во всех на свете общественных делах, всегда находилось множество её почитателей обоёго полу, угодливо грохающих смехом, и как-то так повелось думать, что Антония и танцует лучше всех, но просто считает ниже своего достоинства таким стыдным образом проводить досуг.

Старая писательница неторопливо поднялась, чуточку ойкнув, схватилась за поясницу: какой там рок-н-ролл! Вот и ноги гудят, а ведь она сидела, а не стояла или ходила! Проклятые годы, чёртова старость!

Антония вышла из-за стола и поковыляла на кухню. Надо выпить чаю и позвонить на работу мужу, сообщить, что она закончила. Можно было бы подождать до его прихода, но ей не терпелось поделиться... Да, сначала позвонить, а потом чаю!

– Масик! – усталым голосом произнесла Антония с трубку. – Как ты, милый? Ты знаешь, я закончила... – и она вздохнула чуточку даже со стоном. – Очень устала, да. Нет никаких сил. Всё из меня высосано... Я выпотрошенная, пустая и тупая, – она многозначительно хмыкнула, ожидая определённой реакции. Разумеется, она её получила. – Да, милый, да... Спасибо тебе, я знаю... Да, конечно, я – герой, ах... – как бы саркастически согласилась Антония с мужем. – Отдыхать? Ну, мне ещё ужин надо приготовить... и в магазин... Нет, об этом не может быть и речи. Я всё сделаю... я всё сделаю сама! – это она уже заявила без драматизма и решительно: ещё не хватало поручать что-то Масику! Это означало бы, что они останутся без нужных продуктов и ужина. Он же не способен... ну, да ладно. Поговорив с мужем, Антония заварила себе горячего чая и с хрустом разгрызла сушку с маком. Несмотря на возраст, зубы у неё всё ещё были крепкие. Спасибо отличным в этом смысле генам! Зубы – что надо. Кусачие вполне.

## Главный мужчина

Старую писательницу звали не Антонией. Антонией она сама себя называла, мысленно, никто не знал об этом, даже Масик. Она никогда не призналась бы никому в этом мире, почему она Антония, что значит – Антония...

Антония – это от мужского имени Антон. Антон – её пожизненная любовь, её страсть, её друг и самый главный мужчина жизни. Если хотите, её божество. Это единственный человек на свете, которому она искренне простила бы всё: физическую немощь, невымытые волосы, неумение дать в морду, несвежую обувь... Всё то, что она прощала другим мужчинам, прощала своему Масику, но... неискренне прощала, а как бы во славу Антона. Как бы в его память и потому, что ей казалось – он был таким же. Только он был Антоном. По фамилии Чехов.

Интеллигент. Нет, не так... ИНТЕЛЛИГЕНТ! Настоящий, образец, эталон, экземпляр Палаты мер и весов! Интеллигент до мозга копчика, с не переменным пенсне, в шляпе и... пусть с невымытыми волосиками и несвежими носками! Ему – можно. А в его честь можно и прочим, хотя приходится сдерживать волны раздражения, а иногда даже ярости. Но нельзя себе позволять подобные эмоции, Антон Павлович не одобрил бы. Антония была убеждена в этом и потому терпела от многочисленных своих друзей и знакомых, а в первую очередь от Масика, стойко терпела «чеховские черты». Она не сомневалась в том, что права, ведь Он и был такой – слегка пылью присыпанный не очень свежий, но ИНТЕЛЛИГЕНТ. Она боготворила его. И перхоть на его плечах, которая, по её мнению, непременно была, тоже признак интеллигента. Ну и что? У такого человека даже перхоть прекрасна!

Перхоть не была прекрасна на плечах мужчин из окружения Антонии. Она была отвратительна. Но старая писательница мужественно терпела. Как терпела лёгкую недомытость Масика, его вечно висящие на заду и коленях штаны, всегда-всегда чёрные зубья его светло-коричневых расчёсок (почему они моментально становились чёрными, как он моет голову? Там волос-то кот наплакал, откуда же эта вечная чернота?). Но Антония была мастером терпения уже бог знает сколько лет. И не такое терпела от мужчин, от мужей. Она сумела превратить своё терпение в, как бы сейчас сказали, фишку, в фетиш, в признак самоотверженности и глубокого понимания сути... сути... сути... нечистоплотности, нет, не так: пренебрежения к внешним атрибутам... культуры? Нет, нельзя называть этим словом любовь к чистоте, аккуратности и внимательному отношению к внешнему виду! Культура – это Чехов. А показное чистюльство и запах одеколона – это пошлость, мещанство и... гламурная попса, вот! Именно такое отношение Антония транслировала всему своему окружению – близким, друзьям, поклонникам её творчества. И это работало! По крайней мере, в её кругу, которым она дорожила и гордилась, были именно такие люди – пренебрегающие этой самой пошлостью, но зато очень глубокие, культурные и по-чеховски воспитанные. Антон Павлович её одобрил бы.

А он и одобрил! Антония никогда никому не рассказывала, но с Чеховым она беседовала регулярно. Вот чего-чего, а фантазии ей не занимать! В её размышлениях, послеполуденных дрёмах и ночных снах писатель нередко приходил в её дом, усаживался в кресло напротив письменного стола, снимал шляпу, клал её на колени, пристраивал, прислонив к креслу, свою трость... И говорил. Говорил о том, что именно она нынче главный проводник и последователь его жизненной философии, его идей... что только ей он доверил бы переосмысление его наследия... что ей он и доверяет это сделать всенепременно, потому как сегодняшняя Россия требует заново говорить о том же самом, о чём он писал более ста лет назад, только в преломлении к дню нынешнему, ужасному, страшному, кошмарному... Ей даже виделось, как Антон Павлович берёт свою трость, встаёт, подходит к ней, сидящей за своим «станком», и кладёт трость ей на плечо, как бы посвящая в «чеховство». То есть, в тему морали, добра и нравственности.

Признавая за ней право на эти темы, на рассуждения и поучения народа. Её герои говорили, к примеру, так, пусть и не совсем грамотно: *«Толстой, я уже не говорю о Чехове, – головами бились, томищи книг исписали, чтобы объяснить, что есть добро, а что зло. И где же тем не менее человек? И кто он? Стал ли лучше? Умнее? Добрее? Прозорливее?»*.

Любому полуграмотному читателю становилось очевидно, что автор сего произведения, безусловно, знает о добре и зле всё и даже больше. Он-то точно давно уже и лучше, и умнее, и добрее, и прозорливее всех на нашей многострадальной земле. И имеет полное право на суд и даже расправу... Впрочем, в силу чистейшего благородства человек с душой а-ля Чехов, на расправу категорически не способен, а может лишь скорбно качать головой, собрав бровки домиком, а ротик гузкой, страдая от всех грехов своего народа одновременно.

Было удивительно сладко ощущать прям таки пуповинную связь с Антоном Павловичем! И Антония написала целую книгу, по мотивам произведений великого писателя! Она, «посвящённая», адаптировала многие его рассказы к реальности наших дней. Он был восхищён! Да она и сама радовалась своей работе. И многие другие радовались, по крайней мере, все те, кого она считала людьми своего круга... Масик даже плакал от умиления, когда впервые прочитал ту книгу ещё в рукописи.

А какой-то критик (дай бог ему здоровья!) наконец-то назвал её Чеховым современности. Собственно, этого она и ожидала, такого признания. Цель была достигнута.

## Вражьи происки

И ещё кое-чего она добилась той книгой. Пришло самое первое письмо от дочери из Израиля. Электронное, на этот чёртов компьютер. Антония никогда не узнала бы об этом, если бы Масик ей не сказал.

– Милая... Таська письмо прислала... она твою последнюю книгу прочитала... Но я не хочу, чтобы ты это видела...

Ага, бережёт жену. Волнуется, что ей станет плохо. Это хорошо, что он считает её хрупкой и трясётся за её нервы. Пусть так всегда и думает, до конца пусть так думает... Она, конечно, намного сильнее, он даже не представляет себе, насколько она сильна и сколько может вынести! Этого никто не представляет. Да и откуда они могут знать? Они в курсе только того, что она хочет, чтобы они знали. Они думают только так, как она хочет, чтобы они думали. Это победа её жизни, которая далась очень и очень непросто. И в её окружении остались те, кто способен думать только то, что хочет она. В конце концов, она имеет на это право – столько лет страданий и мук, столько терпения и самоограничения! Хватит уже. Пусть её способности и таланты теперь работают на неё во всех смыслах, пусть ей хотя бы в старости будет комфортно и удобно, спокойно и надёжно. Она имеет на это право. Она его выстрадала.

Именно поэтому она очень захотела узнать, что думает дочь по поводу написанного. Ведь Таська – самая сильная её боль. То, что дочь вырвалась из круга тех, кто думает, как велит Антония, это болезненный удар, пощёчина и хук в челюсть именно ей, писательнице. Не удержат дочь! Не сумеет сохранить на неё влияние! Серьёзное фиаско в жизни... И Тася не заслуживает прощения. Никогда! Ну... если только придёт, бросится в ноги, покается и громко оповестит весь свет, насколько она была виновата перед матерью. Только в этом случае прощение возможно – на условиях Антонии. Исключительно так.

Впрочем, у писательницы хватало здравого смысла понять, что такого ей ни в жизнь не дождаться! Насколько она знает свою дочь, подобный поворот событий не то, что маловероятен, а, скорее всего, совершенно невозможен. Гордая девка. Даже в почтении перед матерью, в полном подчинении ей в детстве, она была гордой. Гордый раб? Смешно... А так и было – необъяснимое явление! И ужасно всегда раздражавшее.

Но вот ведь приятная новость: дочь читает то, что публикует Антония. И у девчонки есть какая-то мысль по этому поводу. Не узнать об этом? Остаться в неведении? Антония тогда почувствовала, что в подобной ситуации правильная убеждённость Масика о её хрупкости и ранимости сыграла с ней злую шутку. Потому что ранимый человек на самом деле не захочет знать того, что может причинить ему боль. Но это не случай Антонии... Она должна знать, что написала дочь, тем более, что в своей последней книге (впрочем, как и в прежних) писательница вела с Тасей непримиримый бой. Она намеренно старалась сделать дочери больно, хотела наказать ее за отступничество, за всё её своеволие, за то, что эта дрянь выросла другой, не такой, как Антония себе намечтала, когда мелкая записуха ещё только валялась в детской кроватке, спелёнутая крепко-накрепко... чтобы поменьше хныкала и кряхтела – так ей советовали, и это помогало.

В общем, дочь подвела во всех смыслах и заслуживала самой жёсткой кары. К сожалению, судьба в очередной раз продемонстрировала свою слепоту и несправедливость, а потому Таська изволила жить благополучно и счастливо в этой Мекке паршивых людей – Израиле. Антония никогда не позволяла себе публично говорить гадости о той стране, но Масику признавалась:

– С тех пор, как там живёт Таська со своим козлом, я невлюбила Землю обетованную... Постоянно думаю о негодах, которых там невиданное количество: все эти спрятавшиеся преступники, вся эта дешёвая шелупонь...

– Ну, там разные люди живут... – робко вставлял Масик.

– Разные, – милостиво соглашалась Антония. – Но дряни слишком много, чтобы ею пренебрегать. Не очень приятное место...

В общем, когда муж сообщил, что от дочери пришло письмо по поводу «чеховской» книги, пришлось немножко отыграть назад и, напомним Масику о своём недюжинном характере, жёстко настоять на том, чтобы письмо было ей представлено. Понадобилось сощурить глаза и стиснуть свои и без того узкие губы в страшную ниточку с перпендикулярными морщинками. О, такого её рта всегда до одури боялись все домашние, особенно дети, когда были ещё маленькими. Впрочем, кто боялся больше – дети или Масик, вопрос открытый. Главное, что боялись...

И письмо она прочла.

«Здравствуй... мама. Могу ли я называть тебя этим словом? Даже не знаю... Мама – любит. Разве ты любишь меня и любила когда-нибудь? Не уверена...

Да, я прочитала твою книгу по мотивам обожаемого тобой Чехова. За что ж ты так его, а? Впрочем, дело твоё, если уж тебе не дорого его доброе имя, то что говорить мне, никакой не фанатке писателя.

С самого детства ты называла меня человеконенавистницей по любому, самому пустячному поводу. Ты не разрешала говорить мне слово «ненавижу», утверждая, что такие дурные слова произносят только очень плохие и злые люди. Кстати, поздравляю, у тебя получилось: я не умею произносить это слово. Я боюсь самой эмоции ненависти. Я не разрешаю себе это чувство, а если оно возникает, то готова убить себя, выпить яд, выброситься в окно, потому что начинаю считать себя последней сволочью. Хороший человек не ненавидит и не произносит этого слова. Так я и не научилась ненавидеть, спасибо тебе, мама... Не научилась переживать это чувство, справляться с ним и побеждать его. Я его просто боюсь, боюсь всю жизнь, хуже смерти, как всегда боялась твоих сжатых губ... Отчасти и поэтому, как объясняет мой лечащий врач, многие, очень многие мои проблемы. От «непроигранности» нормальных эмоций, от запрещения их себе. Ну да ладно, осознание – уже половина решения проблемы. Я не к тому... а вот к чему...

Никогда не считала себя человеколюбом, да и не декларировала этого сроду. Но мама! Вся твоё творчество – это страшная, фатальная концентрация ненависти! Ты знаешь, что я и раньше не считала твоё творчество добрым, позитивным и созидющим. Тебе каким-то образом (талант, наверное) удалось убедить многих и многих, что ты – гуманист и филантроп. Фантастика... «Чеховская» книга – это признание в ненависти, в ненависти к людям, и дальним, и близким. Возможно, даже талантливое признание – я не знаю, мне трудно судить, но страшное и с кровавым оскалом. Неужели ты сама этого не видишь, не понимаешь? Я смирилась с тем, что ты ненавидишь меня, моего мужа, уже и мою дочь... у тебя вроде как есть для этого причина и основания – по твоему мнению. Но за что ты так ненавидишь людей вообще? Ты знаешь, я тоже не филантроп, но так, как ты, никогда не смогла бы ненавидеть, с такой вот силой. Даже бескультурных уродов. Даже морлоков. Степень твоей ненависти просто фантастически зашкаливающая! Что с тобой? Или так было всегда, а я просто не замечала этого?

И я очень хорошо поняла, каким иезуитским способом ты решила сводить счёты со мной. Ты это делала давно, ещё когда я была совсем девчонкой. В твоих книгах назойливо и упорно появлялись персонажи – плохие девочки, ужасные дочери, а параллельно хорошие сыновья. Я всё это начала замечать лет с 15-ти, но, поскольку считала себя реальным исчадием ада (твои внушения не пропадали даром), то просто с грустью думала, что ты таким образом вынуждена выплёскивать свою горечь... Видишь, как я рассуждала? Ты была вы-ну-где-на. Бедная, бедная моя мамочка, думала я тогда, так страдает от моей чудовищности (а, собственно, в чём она заключалась, чудовищность эта? Я до сих пор не знаю), что ей приходится об этом писать, рыдая душой... Смешно, правда? Сейчас уже да.

Но теперь я знаю, что ни в чём перед тобой никогда не была виновата. Теперь-то я это точно знаю, хотя всё детство, всю юность была убеждена в обратном (мама, у тебя есть дар убеждения и даже внушения, это правда! Ты могла бы быть Кашпировским – я без смеха так думаю). Но ты продолжаешь навешивать на меня страшные грехи – с помощью своих уродливых персонажей. Я прекрасно понимаю, что формально не к чему придраться: ты писала литературное произведение, ты всё выдумала и бла-бла-бла. Но не будем лицемерить друг с другом-то! Мы же обе всё понимаем замечательнейшим образом.

Итак, цитаты из твоей «нетленки»:

*«Это дочь моей подруги Жанна Клячкина. Но это ее фамилия по отцу, потом она была, дай Бог памяти, Ситченко, потом не то Шпунцер, не то Штунцер. Кто она сейчас, я не знаю. Как не знает и ее мать. Уже лет десять тому, в самый что ни на есть дефолт, дочь бросила неудачливого в делах мужа, свою дочь-подростка, родителей со всеми их проблемами старости и уехала с этим Шпунцером в Израиль. Дочери она пообещала, что заберет ее как только, так сразу. Родителям не сочла нужным сказать даже до свидания (такой бы подняли вой – себе дороже, объясняла она другим). С тех пор о ней ни слуху ни духу. Одно время она слала открытки дочери, сообщая, что как только, так сразу приближается неукоснительно. Потом и эта связь прервалась».*

Я – Жанна Клячкина. Которая бросила мужа, дочь, вас (родителей) и уехала в Израиль. Сразу столько лжи в одном предложении... Ты прекрасно знаешь, что бросила я мужа нелюбимого и уже давно постылого, что я полюбила другого человека. Что дочь я не бросала да и подростком она уже не была (с каких же пор двадцать лет – это подросток?). Я оставила дочь в Москве, полностью обеспеченную и, как я думала, в кругу любящих людей: отца, бабушек и дедушек. Тут я ошиблась, да, каюсь... не любите вы ее.

Ага, я не простила с вами. А ты помнишь, как и почему это было? Ты пожелала моему мужу смерти (не закатывай глазки, не хватайся показно за сердце – так было, ма, и ты это знаешь лучше других). Мы страшно поругались – навеки, навсегда... Потом я попала в больницу – ты же знала об этом! Ты хоть раз поинтересовалась, почему я там, что со мной и каковы перспективы?

И вот на этом «благостном» фоне о каких таких прощениях и обещаниях можно говорить? Я не хотела ни видеть, ни слышать – ни тебя, ни отца. Уверена, что это было взаимно. Так чего ты причитаешь? Чем недовольна? Что тебе опять не так?

А уж про дочку мою... Тебе ли не знать, что она по три раза в год ездит ко мне сюда, что мы приезжаем дважды в год в Москву, что помогаем ей всем, чем можем? Ей, полностью брошенной и забытой и отцом, и бабками с дедками, живущими с ней в одном городе. За какие грехи? Да за грех единственный – за любовь и преданность своей матери, мне то есть. Вы не в состоянии простить юной девушке такую «страшную обиду». Вы, взрослые, сильные люди объявили девчонке войну за её прекрасные отношения с родной матерью и её мужем. Вот и получается, что вы все никогда не любили её по-настоящему, потому что из-за мнимого предательства легко и навсегда вычеркнули девочку из ваших жизней.

Ты знаешь, вот пишу это и начинаю осознавать степень твоего человеконенавистничества, так ярко проявившегося в книге. А как ещё может быть с такой личностью, как ты? Ты, которая оттолкнула от себя внучку, ещё недавно обожающую и тебя, и твоего мужа – своего деда... Нежную и добрую девочку, преданную и любящую. Оказывается, твои дурные принципы и капризы дороже тебе во сто крат любого близкого существа! Это страшно, мама. Тебе самой не страшно?

*«Я видела того и даже немного знала: старый, некрасивый еврей, лживистый, хитроватый и без понятия добра и зла (они у него менялись местами в зависимости от обстоятельств); у него были деньги, а Жанка по внешности была вполне презентабельна для роли жены-содержанки».*

Ты совершенно бескультурно (что бы сказал Чехов?) поглумилась над фамилией моего мужа, а потом и над его внешностью... и над его моралью... Оболгала честного и порядочного человека. Ведь это грех, мама. Страшный грех. Кажется, ты с некоторых пор, поменяв партбилет на иконы, стала очень верующей? Тогда разберись, сколько же у тебя тяжких грехов, начиная с пожелания смерти человеку, которого любит твоя дочь?

А за «высокую оценку» моих внешних данных спасибо: знаешь, от тебя это уже даже комплимент. Я только уточню некоторые детали... Этот «лживистый и хитроватый» возился со мной, лежачей больной, как с маленьким ребёнком, держал мою голову, когда меня непрерывно рвало, искал и находил для меня самых лучших врачей, клиники, больницы... доставал лекарства, таскал меня, не способную ходить, буквально на руках из кабинета в кабинет. Пока я лежала под капельницами, по три-четыре часа сидел и ждал в коридоре, зелёный от тревоги и страха за мою жизнь. Он уже который год терпит бессильную, бледную и пострашневшую «содержанку», лечит её, ухаживает и твердит одну мантру: «Я тебя вылечу, любимая». Поэтому пусть твой язык (а лучше пишущая рука) отсохнут, мамочка... Написала эти слова, пожалела, хотела стереть, а потом подумала: разве ты их не заслужила?

Финал этого подлого рассказика: Жанна (я) рыдает на всю степь...

*«...а то я не знаю плач русских баб? Оказывается, куда бы ни занесла их судьба, кричат они одинаково. Великое русское плаканье, начавшееся в Путивле на городской стене. И нет ему конца. Степь ли, пустыня ли... Стонет русская баба во всех одеяниях и при разнообразных мужиках одинаково. Как волк в ночи... И это не интеллигентный цветаевский вскрик: «Мой милый, что тебе я сделала?» Тут кричит сама русская суть. Кричит Русь.*

*Скажут: клевета на русских женщин! Они некрасовские! Они тургеневские!*

*Да бросьте вы! В пустыне выла та русская, что способна на раз бросить детей, на два – родителей, на три – выбросить младенца в сортир. И это только часть правды о ней. Вот и кричит в ней вселенский стыд и позор страшной волчьего воя... Я слышала... Я видела... Я знаю».*

Вот ты и высказалась. Обобщила, так сказать... Это я, оказывается, могу выбросить младенца в сортир. Нет, ма, руке твоей отсохнуть мало. А что ты слышала, мама? Что ты видела? Что ты, в конце концов, знаешь? ЧТО? Ну, кроме того, что сама хочешь слышать, видеть и знать.

Ты своими произведениями и героинями, прообраз которых – я, как бы кричишь на весь свет о моих аморальности и бездуховности (обожаемые тобою слова «духовность», «бездуховность» ты по поводу и без вставляешь непрерывно в любую тему). А что ты знаешь про меня, ма? Ты в курсе, какие у меня увлечения, какие фильмы, к примеру, я люблю больше всего, какие мои любимые книги? Напряги память и постарайся вспомнить: когда в моём детстве ты интересовалась, что я читаю, что думаю о прочитанном, что мне в принципе интересно? Правильный ответ: никогда. С самого раннего возраста я усвоила, что мои интересы лежат вне сферы твоих интересов. Я наобум брала книги с наших бесконечных книжных полок, иногда читала то, что мне явно было рановато, я мало что понимала... Но тебя это не трогало и не волновало.

Ты судила тупо поверхностно: услышала из моей комнаты современную музыку и потом устроила мне выволочку с поджатыми губами на тему, какое наше поколение дурное, раз слу-

шает такую гадость. Помнишь, как ты истерила из-за услышанной песни «АББЫ» «Мани, мани»? Ты спросила, что это значит, я ответила, что «деньги», и ты заахала, заохала, как это «бездуховно» – слушать песни с таким названием и, очевидно, что с безнравственным содержанием.

На этом твой интерес к моей внутренней жизни заканчивался, зато выводы делались. А как же тебе – дипломированному педагогу (вот смех-то!) и инженеру человеческих душ (писатель!), как же тебе без выводов? Ведь ты должна учить людей, это ничего, что сама ни черта не знаешь. Назови сейчас навскидку, чем я увлеклась в отрочестве! Какими книгами я зачитывалась до полночи? Какое кино заставляло меня плакать, а мою душу рваться? Не сможешь назвать ничего, тебе это не было ведомо. Так как ты смеешь судить о том, что там у меня в голове и в сердце, если ты знать этого никогда не знала и знать не хотела! Откуда столько наглой самоуверенности? На том основании, что «ты-же-мать» и всё понимаешь и так? Хлипенький аргумент, прямо скажем. Ни на чём не основанный. Любой ребёнок с самых малых лет – сложное и мыслящее существо, в нём происходит миллион всяких работ, и пытливая мысль бьётся постоянно и неустанно. Ты пропустила много интересного, ма, в своём космическом равнодушии. Впрочем, возможно, для тебя это вовсе и не было неинтересно... Позже тоже никакого интереса не появилось – тогда, когда я выросла и у меня уже сформировались совсем взрослые предпочтения и вкусы. Да в гробу ты их видала! В общем-то, имеешь право. Но судить, в таком случае, ты не смеешь – по той простой причине, что ничегошеньки не знаешь. Ты просто придумываешь, как привыкла, и лжёшь, как обычно. Да и называть себя матерью при таком раскладе как-то даже неприлично. Если только и исключительно в смысле физиологическом... Ах, что бы подумал Чехов?

И не тешь себя сладкой надеждой: я не рыдаю, мне сейчас вовсе не плохо, а даже наоборот – хорошо. Правда, я всё ещё нездорова, но лечусь и надеюсь поправиться. Рядом любящий и любимый человек, тёплое море, солнце круглый год. Мы счастливы, и всё у нас хорошо, не надейся. Не дождёшься, моя «добрая» мама.

Я не знаю, что может вправить тебе мозг. Думаю, что уже ничто и никогда. Но подумай хотя бы о себе – ты же захлебнёшься в своей ненависти! Ты именно в ней и захлебнёшься... В твоей крови слишком много яда, злобного желчного яда. Что там у нас отвечает за кроветворение? Печень? Твоя печень, ма, видно состоит из какой-то гадости, раз рождает больную, отравленную кровь. Подумай, что ли, о печени, ма...»

Вот такое было письмецо от этой... от дочери. Оно лежит, напечатанное на принтере, в письменном столе Антонии вместе с другими, полученными потом ещё много раз из Израиля. Антония не отвечала на них. Вернее, отвечала другим способом... Иногда она перечитывает эти письма, чтобы подзарядиться нужными эмоциями, чтобы адреналинчик или желчь (яд в крови?) простимулировали её мозг, её чувства, её руку, в конце концов, да-да, руку, которая не отсохла, дорогая доченька, и не отсохнет до конца!

Ух, как разозлила её тогда Таська своим первым письмом! Разозлила точным попаданием в цель и... качеством формулировок (писательница не могла не оценить очевидное). Ну, с кем Антонии лукавить? С дочерью, которая, как выяснилось, понимает её лучше других, чувствует тоньше и вернее? Масик был в жутком в гневе на дочь за письмо, а Антония немножко испугалась тогда: Таська-то усекает всё с полуслова. Она, в отличие от прочих, знает её, Антонию, очень и очень хорошо. Антонию настоящую. Ещё, кстати, даже неизвестно, до какой степени она её понимает. Девочка всегда была чувствительная, внимательная. Что она там накопила в душе с самого детства? Что замечала, видела, слышала? Вот чёртов шпион в собственном доме!

Очевидно, в силу жизненных обстоятельств, Тася наблюдала мать намного больше, чем кто-либо другой, видела её подлинные реакции и слышала настоящие, идущие из сердца

слова – в минуты откровения или сильных эмоций. Масик, конечно, тоже, но он... он глупее Таси. С этим нужно смириться. И он полностью, до самых потрохов принадлежит своей знаменитой супруге, он – её рыцарь, охранник, преданный паж и поклонник. А она, Антония – его мозг. И его чувства. Своих у него уже, похоже, нет. Умная же Таська с этой своей самостью... опасна. Предательница. Предательница, знающая самые сокровенные тайны. Это страшно. Очень страшно!

Иногда Антония ловила себя на пугающей мысли: лучше бы Тася умерла. Антония ёжилась от этого, но не потому, что впадала в материнское горе, а потому, что понимала: старая писательница, продолжательница дела Чехова, «шестидесятница», филантропка и гуманистка не вправе испытывать такие чувства и допускать подобные мысли. Значит – под замок их! И никогда никому! Достаточно того, что она тогда позволила себе вслух пожелать смерти этому еврей, мужу Таськиному. Вот ведь как аукается! Держать себя в руках, держать себя в цепях, в канатах, в стальных тросах!

Поэтому, прочитав тогда самое первое письмо дочери с экрана компьютера, Антония нашла в себе силы сделать то, что нужно. Сыграть то, что требовалось в той ситуации. Она тяжело вздохнула, закусила губу, пару раз всхлипнула и дрожащим голосом произнесла:

– Масик... Напечатай мне это письмо... Пусть оно будет у меня. Не спорь! Так нужно... И... накапай мне сердечных капель, мне нехорошо... Я прилягу... Это надо просто пережить... просто пережить... дочка ведь...

Муж засуетился, забегал – всё в порядке. Антония на самом деле прилегла, красиво стуча зубами о стакан, выпила капли. Её трясло. Но не от сердечных перебоев, а от гнева. Она ясно отдавала себе отчёт: она ненавидит свою дочь. Давно ненавидит, очень давно... Настолько давно, что даже страшно листать назад – а вдруг воспоминания упрутся в детскую колясочку? Да что там миндальничать с собой-то! Упрутся, да. Она что – виновата в своих чувствах? Вон, дочь пишет, что не разрешать себе испытывать чувства вредно для здоровья, вот и ей вредно было, ведь она всю жизнь запрещала себе даже близко подходить к этой мысли! И каков итог? Кому хорошо? Все друг друга ненавидят. Сначала тайно, теперь уже явно.

Значит, хотя бы сейчас нужно ситуацию «отпустить» и разрешить себе чувствовать то, что чувствуешь. Она уже имеет на это право, она его заслужила, заработала, выстрадала.

И в тот день Антония себе, наконец, разрешила это в полной мере. И потому придумала писать дальше о том, о чём ей хотелось. А хотелось сделать больно Таське. Очень хотелось. Очень больно...

## Публика – дура. Дети – зло. Пьянству – бой?

А ведь права, израильская сучка, права! У многих литературных критиков проза Антонии всегда проходила по ведомству «человеколюбивой, в русских традициях нежности к „маленькому человеку“, доброй и светлой литературы». Иногда сама писательница с удовольствием отмечала, что, несмотря ни на что, именно так и получалось. Хотя порой она чуть не прорывала бумагу шариковой ручкой, когда писала, настолько сильно недобрые эмоции захлёстывали её. А вот поди ж ты...

Если, говоря с людьми, почаще употреблять с придыханием имя Чехова, слова «нравственность, добро, милосердие», то публика, как те крысы под дудочку, идёт в правильную сторону. В данном случае, оценивает твою писанину именно так, как требуется, и помещает тебя в нужную нишку русской классики – по соседству с нашими великими из века 19-го. В общем-то, не очень сложно управиться с российской полуобразованщиной, реагирующей на символы, делающей стойку на слова, а не на суть. Это потрясающее воображение открытие Антония сделала уже давно, кстати, благодаря Таське, которая ещё в противном своём подростковом возрасте любила подкалывать родителей за их «припадание» к словам и именам – «к наборам букв», как выражалась эта сопливая девка. К примеру, она имела в виду их реакции на определённые фамилии, «аж приседание», хихикала гадюка и изображала: «Солженицын – а-а-ах!» – глазки закатывает и приседает. Потом в точности такие же приседания они увидели в фильме «Кин-дза-дза». Таська хохотала пуще всех, когда смотрела... «Ах, Чехов! Жёлтые штаны – два раза КУ!» – и опять раскоряченный реверанс и состроенная морда блаженной идиотки. «А дальше вам могут говорить, что угодно, вы примете из рук своего кумира всё, абсолютно всё. Возможно, даже людоедство. Потому что у вас в голове критика отключена...»

Антония тогда вправила мозги дочери, объяснив, что у них, у российских интеллигентов, тем более, шестидесятников, не могут быть недостойные кумиры, тем более – людоеды. Это у таких, как Таська, безнравственных современных профурсеток, дур и мизантропов... Дочь, как обычно, всё это проглотила, не возражая. Антония всегда побеждала в спорах. А как же иначе? Таська уходила побеждённая, ссутулившаяся, ничтожная, как побитая собачонка. Антония чувствовала себя после таких споров с дочерью двойственно: с одной стороны – очередная победа и унижение противника, с другой – горькое осознание наличия сильного оппонента, который умнее, чем хотелось бы, и мыслит как-то не так, как надо, как ему внушается, как от него требуется. И противник имеет перспективу – растёт, развивается, умнеет, читает, размышляет. Куда-то не туда развивается! Почему нельзя остановить, запретить этот неправильный поворот взросления собственного ребёнка! Как-то это неверно устроено, какой-то недосмотр – то ли природы, то ли общества. Дети – любовь и радость? Возможно. Когда они такие, как их задумывали родители. А не когда «цветут и пахнут» своими собственными красками и запахами. Ведь тогда они – чужие! Как же можно требовать от существа мыслящего, отнюдь не животного, а очень даже гомо сапиенс, любви к совершенно чужому, порой, чуждому организму, который к тому же ещё своё мнение имеет и проявляет собственный характер? Точнее, пытается иметь и проявлять, потому что кто ж ему даст. Ну, по крайней мере, не Антония. Слишком дорого ей достались все её нынешние понимания, знания и убеждения, чтоб терпеть «оппозицию» под боком, в собственном доме.

Уже напившись чаю, Антония поняла, что совершила ошибку. Не чаю надо было пить. Водочки. Нехорошо, конечно, на пустой желудок да и доктор запрещает из-за печени, но обеда всё равно нет, есть совсем не хочется, а вот отпраздновать окончание работы следовало. По традиции. Как же она забыла? Слишком задумалась, что ли, о Таське? Антония почувствовала сильную досаду и гнев – на дочь. Вот ведь стоило о ней лишь только подумать, как из головы

будто ураганом выдуло саму мысль о рюмочке-другой, об удовольствии... Что это – безусловный рефлекс, что ли? Образ Таськи – и тут же условный рефлекс «не пить»? Да ну, ерунда... Не было мысли «не пить», просто в голове не поместились сразу две мысли. Потому что там, в мозгу, расселась вольно дочь и, как обычно, заняла своей персоной всё пространство, вытеснив оттуда даже радость и удовлетворение, какая уж там водочка... М-да, как обычно, мысли о Таське портят всякое хорошее настроение и сбивают с толку.

Антония достала из холодильника запотевшую «Столичную», из висячего шкафчика взяла «дежурную рюмашку» и, наконец, отметила важное событие своей жизни: окончание очередной книги, которую с нетерпением ждут в издательстве. С нетерпением, между прочим! Тут же бросят её работу на конвейер издательского производства, так что книга выйдет очень даже скоро. Никакой редактуры, разумеется, не будет: Антония уже давно проходит по рангу мастодонтов, мамонтов, аксакалов... в общем, неприкасаемых. Так что процесс предстоит чисто технический: корректура, набор, печать. За это, пожалуй, стоит выпить ещё рюмочку!

И опять думалось о дочери. Почему-то не о сыне, которого сгубила именно водка, а о Таське. Эта зараза делала несчастные глазки ещё в детстве, когда они с друзьями «гудели». Ну, очень культурно гудели-то! Просто становились весёлые, бесшабашные... пели хорошие песни – Окуджаву или из качественной российской эстрады что-нибудь. Все мягчили, улыбались, были ласковые и нежные. Чего она злилась-то, девчонкой? Однажды даже плакала... Антония пошла за чем-то в её комнату, а та сидит, хлюпает носом. Лет восемь ей, наверное, было.

– Что случилось, доча?

И что вы думаете? Эта малявка решительно вытерла нос и довольно-таки твёрдо заявила:

– Мам, когда вы все выпьете, вы такие противные становитесь! Мне от этого грустно и неприятно... Вы все, и ты с папой, даже пахнете плохо, гадко...

Нет, ну вы такое видали? И подобное ляпнуть матери, сказать и не постесняться. Антония тогда рассмеялась и попыталась объяснить дурочке, что та просто ничего не понимает: взрослые расслабились, потому что очень устали на своих работах; они все хорошие, порядочные, никакие не алкаши подзаборные, а, напротив, весьма культурные и интеле... интелл... интеллигентные люди: на слове «интеллигентные» Антонию тогда здорово застопорило, но она всё-таки справилась, в конце концов. Хотя успела заметить, как сжались кулачки у дочери. Ах, ты маленькая дрянь! На мать кулачки сжимать?! Но даже это её в тот момент только лишь рассмешило. Она стояла в дверях, на всякий случай держась за косяк, потому что слегка штормило... стояла и негромко смеялась. А Таська сжимала кулачки. Я тебе, доча, эти кулачки навсегда запомню! И насчёт того, что мы как-то не так пахнем, тоже. Ох, запомню... не забуду.

И запомнила, несмотря на то своё сильно хмельное состояние. И не забыла.

После двух рюмашек настроение немного улучшилось. Даже образ Таськи перестал донимать, вроде как исчез, растворился, улетел в приоткрытую форточку. Антония решительно достала из корзины под столом несколько грязных, облепленных землёй картофелин, бросила их в раковину, взяла нож и, пустив тоненькой струйкой воду, начала чистить. Пришли обычные в такой момент мысли... «Интересно, каково было бы моим читателям увидеть свою любимую писательницу в роли домохозяйки, каждый день чистящей картошку, моющей посуду, драющей раковины и так далее. Они ж, идиоты, небось, думают, что у меня полный дом прислуги, а ручки вечно в маникюре и в атласных перчаточках. Что я исключительно за письменным столом и в кресле с книгой... Чёрт!» Антония с досадой шваркнула овощем о раковину: каждый раз именно такой ход мыслей приводит к одному и тому же – к дикой обиде. Обиде на жизнь за то, что таки нет у неё полного дома прислуги, что всё приходится делать самой, а её руки ничем не отличаются от рук простой деревенской бабы! Разве это честно, справедливо?

Много лет назад, когда дети ещё были маленькими, а они с мужем вполне нестарыми, но Антония пока не была известной и публикуемой писательницей, в моменты чистки картофеля она также размышляла о неправильной этой ситуации: она не должна заниматься грязной домашней работой, обслуживая свою неблагодарную и глупую семью. Разве она рождена была для роли кухарки, полойки? В общем, тогда одна из её основополагающих идей была такова: добиться многого, добиться всего и всем доказать, что она им не кухарка.

Доказала. Стала известной и уважаемой писательницей. А всё равно стоит на том же самом месте кухни и чистит картошку. Ничего себе подлянка! На том же самом месте...

Вдруг вспомнилось... В кои-то веки Антония попросила тринадцатилетнюю дочь начать чистить картошки. Надо отдать должное Таське, она никогда не кочевряжилась. Сама инициативу сроду не проявляла, но если попросить, то всегда была готова, как пионер. А Антония тем временем квартиру пылесосила – они ждали гостей. И, одурев от воя пылесоса, Антония решила пойти проверить, как там дела с картошкой...

В кухне ей представилось зрелище: Таська вовсе не стоит перед раковиной, как лист перед травой, а удобно сидит, нога на ногу, на мягком табурете, перед стоящей на обеденном столе кастрюльке с картошкой, для очисток приспособив старую газету. Сидит себе, ногой покачивает, что-то напевает. Антония остолбенела. Ей ни разу в жизни не пришло в голову, что можно чистить картошку, не насилуя свои больные ноги. Что можно сесть и сидя делать эту противную работу! Хотя бы ноги не устанут, да... Осознание того, что она сама ни разу до этого не додумалась (как и её мать, всю жизнь стоймя чистившая картошку, как и бабушка) оскорбило её до глубины души. Ах, Таська, ищущая удобства и комфорта! О! Тут же, молнией пришло «спасение» – это вовсе не сообразительность, а невероятная лень и необоснованные требования от жизни сплошных удобств. Радость от «спасения» тут же кубарем вывалилась из рта словами:

– Ой, гляньте на неё, люди добрые! Сидит! Картошку чистит, сидя. Совсем обленилась, голубушка?

Дочь подняла на мать взгляд, полный недоумения и обиды.

– Почему, мам? Что такого? Почему обязательно надо стоять? Так же удобнее!

– Удобнее! Вот главное слово в твоей жизни. И нитка в твоей иголке всегда длинная-предлинная, я ж замечаю. «Длинная нитка – ленивая девка». Может, ты, не поднимая задницы, пыль вытирать приспособишься? – Антония засмеялась умелым, натренированным глумливым смехом. А потом картинно махнула рукой и вернулась к пылесосу, чтобы подумать, отчего же ей ни разу в жизни не пришло в голову чистить картошку сидя. Ей было всё равно, что там кумекает дочь по поводу услышанного от матери, ей хотелось разобраться в себе, как же так получилось, что она вечно себя вымучивает всяческими неудобствами, считая это нормой жизни, а Таська, вся из себя современная и мизинца матери не стоящая, вот так легко и непринуждённо разрешила одну из маленьких, но болезненных проблем быта. Просто села на попу и ноги её не работали в этот момент, а вполне себе отдохали. Инстинктивно, что ли, у нее это получается? Вот, наверное, да: у неё самой, у Антонии, нет инстинкта этого – искать удобства и комфорта, а у нынешнего поколения лоботрясов это есть. Растут, паразиты, в благополучии и неге, и не могут себе даже представить, что жить надо, преодолевая боль и муки, и именно из такой жизни вырастает мудрость и понимание... Чего? Эта мысль требовала завершения, какой-то морали, всеобъемлющего вывода о... правильности образа жизни отцов (её, Антонии образа жизни) и порочности мышления поколения детей, нынешнего поколения (Таськиного образа жизни). Досада прошла, «вкусно» думалось, как она непременно отобразит эту деталь в своих книгах. Как заострит на этом внимание читателя, как подчеркнёт эту пропасть между ней и ими... между собой и дочерью... Всё к лучшему, всё – в топку творчества. Спасибо, Таська, подарила ещё одну ценную мысль. Ты их даришь мне, деточка, много, даже сама не подозревая об этом. Причём, с самого раннего детства. Хорошо, что ты сообразительная

и говорливая. Продолжай, девочка моя. Хоть этим ты оправдаешь своё существование на этом свете, оправдаешь то, что я, как папа Карло, уже столько лет гроблю свои силы и свой талант на обслуживание тебя, на твои проблемы, на твоё воспитание... Сколько сил моих ты жрешь, ребёночек, сколько здоровья! Ну, хоть какая-то отдача.

## Оргазмы шестидесятников

Антония дочистила картошку и поставила её на огонь. Идти в магазин? Антония выглянула в окошко: слякоть, грязь, серость и дождик накрапывает... Ну его, не стоит. «Нарежу, как обычно, толстыми ломтями сёмгу, салатик сварганю из огурчиков и помидорчиков, чёрный хлеб имеется... И ещё с Масиком водочки тяпнем за ужином – отметим окончание большой работы.» Не просто работы – знаковой книги! В ней Антония, наконец, расставила все точки над «i», всему миру показала, кто есть кто, какие они с Масиком, какие у них дети... А главное – ох, как больно будет тебе, Тасечка, очень больно! В новом произведении я ответила на все твои упрёки, на все вопросы, которые ты задавала мне в своих письмах из Израиля. Ждала ответа, девочка? Так ты его получишь в литературном виде. А литература – это на века! Тошнёхонько тебе будет, милая... Антония улыбнулась своим мыслям и мечтам об этом самом будущем: о том, как дочь будет читать новую книгу. Она представляла себе выражение лица Таськи и сладкое чувство отмищённости и удовлетворения дочкиной болью заполнили всё её старое и так подводящее в последнее время тело. Эта сладость была похожа на... оргазм. Да, да, именно так, на оргазм! Господи, сколько уже лет (десятилетий?) она не испытывала этого чувства, только читала про него и сама много-много писала. Писала по воспоминаниям о тех временах, когда это было... Плюс помогало богатейшее воображение! Зато она давно научилась получать почти такое же удовольствие от интеллектуальных упражнений, от умения с помощью языка и своего литературного дара полностью выразить себя, свои чувства и мысли на бумаге, донести их таким образом до огромного количества людей... и словить кайф на понимании и принятии себя, своей личности публикой. О, какой глупый физиологический оргазм может сравниться с оргазмом интеллектуальным! Пусть она обделена известной радостью жизни, пусть! У неё это было, было давно, в молодости, можно сказать, в жизни прошлой. Ну и что? Зато ей открыты такие возможности и наслаждения, которые тебе, Тасечка, сроду не испытать, хоть ты и нашла в свои сорок лет вторую молодость и женское счастье. Якобы... А всё равно тебе не доказать мне ничем, что твой путь, твоя жизнь – правильны и прекрасны. Потому что ты никогда не узнаешь настоящей сладости – сладости победы и торжества ума и таланта. Что такое твои постельные утехы рядом с могуществом писателя, который уже всё испытал в этой жизни – не думай, что ты такая уникальная! – зато мой талант способен продемонстрировать всему миру твою ущербность и убогость в сравнении с писательской мощью, мудростью и... правильностью во всём. Ты-то, деточка, неправа и глупа. Своей глупостью ты загнала себя в угол, борясь с тем, кто тебе не по зубам. Зачем ты ввязалась в это, дурочка?! Куда тебе...

Главное противоречие, в которое они вошли с дочерью ещё в совершенно нежном Таськином возрасте (лет эдак в двенадцать-тринадцать) было, на первый взгляд, ужасным забавным, смешно сказать – идеологическим. Посмотреть со стороны, бред сивого мерина – из-за этого матери войти в глухое непонимание с дочерью. Но так это выглядит со стороны глупого обывателя, разумеется. У каждого человека в жизни есть своё святое, то, что нельзя грубо трогать, нельзя не уважать, не испытывать пиетет и даже трепет. И никто – никто, слышите? – никакой родной человек (дочь, сын, отец) не имеет права не то, что надругаться, но даже подвергать сомнению святыню. В конце концов, если это для кого-то святое, значит, будь любезен придержать язык и эмоции, что бы ты там ни думал по этому поводу. А Таська не удерживалась...

Для Антонии святым всегда было шестидесятничество. То самое, имени Солженицына, Окуджавы, Визбора, Галича и так далее со всеми нужными литературными остановками. Антония была убеждена в том, что их поколение, хрущёвское поколение интеллигентов, прозревших, всё понявших, пострадавших в душной тирании, образованных, прочитавших всё то,

что должен прочитать культурный человек, переосмысливших прошлое отцов, а заодно заново воспринявших христианские ценности – поколение особенное, выдающееся, знаковое. Их дети уже не такие. Они не сумели вобрать в себя высокие дух и философию, которые родители буквально дарили им с самого младенчества, а если выражаться метафорично – сразу положили в их колыбельки вместе с погремушками. Нет, дети оказались не достойны своих отцов, не восприняли, не вобрали. Ну, ладно, не дано, что ж поделать... Но так хотя бы должны понимать, что такое их отцы и матери, какова их роль в истории страны, каков их вклад в нынешнее благополучие этих самых детей.

Может, кто-то счастливый из шестидесятников этого и дождался от своих отпрысков, но только не Антония. То есть, сын-то да, он – свой, родной, такой же. Он всегда пел с ними за столом «Милая моя, солнышко лесное...», «А мы по тууууундре...», как это было прекрасно! А вот Таська при этом презрительно морщила нос, а порой даже слышался ее насмешливый шёпот: «Тоже мне туристы, эки политические...». Не туристы, а шестидесятники! Вот.

Ух, тема болезненная... Антония не один раз возвращалась к ней в сочиняемых произведениях, размышляла – с помощью своих героев, конечно. Герои мучились, страдали, задавались теми же вопросами, что и она, рефлексировали, не находили понимания у своих детей. Иногда Антонии даже удавалось встать на точку зрения этих самых детей с помощью персонажей и кое-что прочувствовать и объяснить себе (и читателю заодно), понять... Но не принять! Например, в своей предпоследней книге, в очередной раз вступив в заочную полемику с дочерью, Антония написала так:

*«Девушка из приличной семьи, где пальто носили не менее пяти лет, где лишние деньги шли на книги, где слово „демократия“ было свято, а за славословие Сталина могли набить и морду, а уж выставить из дома могли и за менее крайние мысли, одним словом... храни вас Бог родиться у шестидесятников».*

Хотя дальше по сюжету героиня (Таська), которая и была вот этой «жертвой» шестидесятников, проявилась как последняя дрянь и мерзость, важные слова были сказаны, то есть, написаны. И случилось кое-что не очень приятное.

Антонии позвонила её совсем старенькая подруга Фрида (светлая ей память) – из интеллектуальной советской элиты, филологиня, критикесса, журналистка et cetera. Лет ей было, как Мафусаилу, крохотная худенькая старушка с удивительной силой духа и потрясающе ясным умом. Когда-то в середине семидесятых они оказались в одном доме в гостях, сцепились языками и с тех пор общались часто и подолгу, иногда встречались и много времени «висели» на телефоне, что позволяло называть эти отношения дружбой. Фрида даже помогла Антонии в её литературной московской карьере, как могла, не шибко, но постаралась.

Если говорить откровенно, Антония всегда ощущала некоторую интеллектуальную неполноценность рядом с Фридой: та и соображала быстрее и острее, и образована была много лучше (можно ли сравнивать провинциальный пединститут и МГУ) ... Но Антония высоко и гордо держала голову и никогда не давала ни малейшего повода своей старенькой подруге хоть как-то доминировать. Антония давно научилась скрывать незнание за многозначительной улыбкой, непонимание – за междометиями и фразами типа «ну, конечно, это само собой разумеется», а любое несовпадение с собеседником в принципе – за талантливым умением выдёргивать из памяти классические цитаты и, козыряя оными, демагогически уводить разговор в нужную ей сторону. А с Фридой применять всё это приходилось нередко, ибо старушка была въедливой и, несмотря на то, что ценила творчество Антонии достаточно высоко, часто придиралась к сути написанного и спорила довольно-таки резко. Антонии бывало не слишком приятно, но, во-первых, отлично стимулировало её ум, заставляя размышлять над контраргументами, а во-вторых... во-вторых, она слишком дорожила этими отношениями, чтобы их

прервать: они давали ей ощущение уверенности в том, что она принадлежит к интеллектуальной российской элите, что она с ней на дружеской ноге и имеет право на своё собственное мнение и даже философию, раз с ней беседуют такие мастодонты от литературы, раз с ней спорят и считаются с её мнением.

Так вот, из-за той повести, в которой была эта цитата, а точнее даже именно из-за этих слов, у неё с Фридой состоялся довольно жаркий разговор по телефону. Старушка не поленилась и зачитала Антонии отрывок из её собственного текста по телефону (можно подумать, что она их не помнила практически наизусть, выстрадано же).

– Милый мой писатель! – вещала Фрида своим скрипучим голоском. – Позвольте в очередной раз полюбопытствовать: почему вы раз за разом противопоставляете материальную обеспеченность духовности и ненависти к тоталитаризму? А ещё опять отделяете следующее за вами поколение шестидесятников, то есть, ваших детей, от себя таким жестоким образом – «не дай бог родиться у шестидесятников»? Никак не могу понять, кому и что вы доказываете? Вот я старше вас, я, скорее «сороковница-пятидесятница» со всеми вытекающими, хотя и либеральными, то есть ваших убеждений, но, простите, всегда жила благополучно, как и многие из таких же, как я, любила менять пальто чуть не каждый сезон, для чего свела знакомства с очень хорошей портнихой. Вы знаете, что сталинизм ненавижу, но вместе с его нищенским аскетизмом... В общем, всё вы понимаете прекрасно и, тем не менее, из книги в книгу я вижу у вас постоянные противопоставления благородства и достатка, любви к красивому и наличие морали... После очередного этого вашего утверждения я чётко осознала, что сие – твёрдая позиция, которую я разделить ну никак не могу...

Фрида не могла видеть, как крючит от всех её слов Антонию, как она терзает телефонный провод, как кусает губы и щурит глаза. Нет, Антония никогда и никому не признавалась, что в своих книгах постоянно спорит с родной дочерью, доказывает именно ей, кто прав, а кто плохой. Более того: она никогда никому не говорила, что у неё с Таськой отношения хуже некуда. Казалось бы: расскажи той же Фриде всё, как есть, и получи её поддержку! Но Антония отнюдь не была уверена в том, что старуха её поддержит... Для Фриды дети – предметы обожания, у неё потрясающая дочь, такая же, как мать, интеллектуалка и умница, известная на всю страну политобозревательница, которую рвут на части радиостанции и печатные СМИ. Конечно, с такой дочкой нет и не может быть никаких проблем и непониманий! И Фрида никогда не сможет понять, что такое ребёнок-враг. Почему и как это получается, ей тоже не взять в толк сроду. И её непонимание Антонии может очень дорого стоить: дружба рискует закончиться. Фрида не тот человек, которому реально «впарить» историю про то, как девочка с самого начала, буквально с пелёнок была чужой и странной, не такой, какой должна была быть. Фрида – материалистка до мозга костей, но на генетику не молится, поэтому внушить ей идею о «генетической чуждости» собственного дитя невозможно. В общем, старушка не знала про «вечный бой, покой нам только снится», надо было её как-то убеждать.

– Фридошка, родная! – чирикала Антония. – Я не противопоставляю, что вы! Точнее так: это не я противопоставляю. Замечаю я с сожалением, что есть такая тенденция у людей: морщить нос от якобы неотмытой интеллигентщины, которая не заморачивается чистотой ногтей, зато яростно блюдёт моральные и нравственные принципы...

– Боже ж мой, так за ногтями следить необходимо! – почти кричала старушка. – Опять противопоставление нормы и другой нормы! Ну, как у вас это получается?

– Да не у меня, Фридошка! – тоже повысила голос Антония. – Это веяние времени, отказ от идеалов во имя наносного, внешнего...

– У кого отказ? Где отказ? Откуда вы это вообще взяли, что за люди появились в вашем окружении? Почему я таких не вижу?

«Потому что ты не знаешь мою дочь!» – мысленно орала в ответ Антония, но вслух продолжала говорить что-то другое. А ведь Таська сроду не декларировала ничего из того,

о чём писала Антония. Так, были у них несколько раз вялые споры о том, что пренебрежение внешним видом – это признак бескультуры (Таськино убеждение), что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» – эту цитату великого классика дочь произносила с особенным удовольствием. Но при этом она никогда не отвергала ценностей матери и шестидесятников. Она просто жила по-другому. И это раздражало Антонию.

К примеру, дочь каждые десять дней делала маникюр у маникюрши. А раз в месяц и педикюр. Регулярно ездила к своему мастеру на стрижку. А Антония прежде даже гордилась тем, что ни единого раза в своей жизни не была у маникюрши. Ни единого! И что – разве у неё грязные и неухоженные ногти? Да, она их не красит, потому что какой смысл? Если драить полы, мыть посуду, тереть ёршиком унитаза, то какой маникюр это выдержит?

– Ма, я тоже всё в доме делаю, но я просто надеваю специальные перчатки... – возразила ей дочь на презрительное замечание о лаке на её ноготках.

– А я не могу в перчатках мыть посуду, – гордо парировала Антония. – Я не чувствую чистоты посуды, не ощущаю нужного скрипа.

– Ну, не знаю, – дёрнула плечиком дочь. – Как-то большинство женщин в мире, вроде, приспособились и хозяйство вести, и маникюр делать... Только у нас в России вечное страдание во имя не пойми чего...

– Пфф! – фыркнула в ответ Антония, вложив в этот звук всё своё презрение к этому самому пошлому большинству. Небось, хреновые хозяйки-то! Тоже мне – леди из высшего общества, без красненького лака обойтись не могут. Вот ведь оно, во-о-от! То самое пошлое мещанство, которое, безусловно, отрицает высокую духовность и интеллигентскую мораль! Потому что не может человек, столько времени уделяющий ногтям, иметь достаточно сил и времени для работы души. Не может, Антония в этом убеждена! Или ездить к своему парикмахеру на другой конец города... Это ж и время, и, кстати, недурные деньги. Не жалко? Ей, Антонии, очень жалко! Поэтому она всегда ходит в ближайшую парикмахерскую к самой дешёвой и очень даже милой женщине, а красит ей волосы Масик с помощью зубной щётки. И что – разве она плохо выглядит, а на голове у неё воронье гнездо? Не знаю, не вижу такого – думала о себе Антония. Всё у меня в полном порядке.

Правда, уже с давних пор писательница отказалась от посещения всяких тусовок и приёмов, даже когда их с мужем приглашали. А их часто приглашали: Масик – редактор в уважаемом журнале, она – известная писательница. Но, побывав на «раутах» пару раз, Антония всё-таки углядела разницу между собой и прочими присутствовавшими там дамочками. Ей трудно было бы объяснить, что не так, но если разбирать по деталям... Ну, к примеру, дамы её возраста все были элегантно одеты – в каких-нибудь там пиджачках, интересных длинных юбках и непременно на каблукках. А она, как правило, ходила в вязаной (иногда штопанной), хотя и некогда красивой кофте с вещевого рынка и непременно в удобных для гудящих ног разлапистых чёботах, но тоже ж не «прощай, молодость», а вполне себе современных. Однако весь её прикид всё-таки входил в контраст с нарядами прочих интеллектуалок и дам «света». Да и причёски у них были явно только что из салона: ухоженные, уложенные, какие-то блестящие и странно молодящие. Не по годам причёсочки-то! В общем, Антонию всё это раздражало. А особенно раздражали странные взгляды, которые порой на неё бросали некоторые... некоторые... наиболее эффектные тётки. Тоже мне – свет, двор английской королевы, высшая раса! Да у всех у них мамки-бабки ещё коров пасли и доили, в деревнях лапти носили, а они уж тут себе навоображали, научились, прикинулись!

Словом, это было неприятно и чуждо Антонии, справедливо вызывало у нее гнев и презрение. А её собственная, родная дочь стала именно такой дамочкой – с маникюром, причёской и в купленных в хорошем магазине шмотках. «Только не на рынке, там же плохо сшитая азиатская дешёвка!» – уверяла её Таська. Ах, ты, боже ж мой, какие тонкости! Да наклеить на эту дешёвку дорогой лейбл, и никто не узнает правды! Вон какие сумки там продают – сплошная

фирма, якобы кожа: Антония читала, что даже специалисты не могут на глаз отличить подделку от оригинала, так какой же смысл покупать в сто раз дороже и в навороченных магазинах? «Я не покупаю в навороченных, ма, – оправдывалась Тася. – Но в магазинах с неплохой репутацией. Ну, чтоб хоть какая-то гарантия качества и безопасности, понимаешь?» Нет, Антония не понимала. И не верила дочери. Вы подумайте, у магазинов уже бывает репутация, дожили!

Из этой выросшей чужой тётки по имени Таисия пёрли мешанство и пошлость, что бы там она ни декларировала, защищаясь. Не будет Настоящий Человек убивать столько времени и сил на эту мишуру, не будет – и всё тут. А потратить сэкономленные на дорогом парикмахере деньги было бы правильно на книжных развалах, поискав и найдя там нечто интересное, новое, познавательное. Антония так и делала всегда. Её радость от лишних денег – это покупка книг, всегда только книг. Жаль, что она не могла разделить эту радость с дочкой.

«Ох!» – Антония схватилась за сердце. Куда-то понесло его, это грёбаное сердце, ритм сбился, дыхание перехватило... Нет, хватит думать о дочери, довольно! Несмотря на все сладкие и победные мысли, что крутятся в голове, всё-таки образ Таськи вызывает слишком много отрицательных эмоций. Надо с этим завязывать. Хватит уже! Ведь победа на мази, собственно, всё уже сделано, сработано. Успокойся, Антония! Таське вряд ли удастся оправиться от такого удара. Не по её это силёнкам... Слабая она. Болеет же постоянно – по её же словам. Ничего, ей мужёнок поможет: укроет своим крылом, защитит, нашепчет кучу слюнявых нежностей на ушко, приласкает, утешит. Пусть греются в своём Израиле. Безмятежно. Пока. Но книгу-то они прочтут, она это знает точно.

## Прототип высказывается

Конечно, прочтут! Ведь потом от Таськи были ещё письма, письма... Таська читала всё, что Антония писала и публиковала. Это приятно щекотало разные чувства Антонии. С одной стороны, дочь была в курсе, как благополучна и востребована её нелюбимая мать, как часто у неё выходят новые книги. С другой – Антония точно знала, что Таська видит её мнение о ней, о её муже и вообще обо всей её жизни – такой противной для Антонии. Пусть нет возможности всё сказать в глаза, всё выкрикнуть в это чужое и неприятное лицо, так оно даже лучше выходит. Красивее. Она ведёт с дочерью диалог, так сказать, посредством своего творчества. А что – разве не диалог? Разве не получает она регулярно письма из Израиля от самого своего... преданного читателя? Вот, к примеру, какое письмо пришло Антонии от дочери после прочтения следующей книги.

«Привет, ма. Прочитала твой очередной шедевр (видишь, даже в кавычки слово не взяла, на самом деле оценила!). И поняла, что твой главный вдохновитель нынче – злость. Даже ненависть. В этом смысле очень талантливо написано, очень! Ненависть сочится из каждого слова, из каждой мысли. Молодец! Можно сказать, новый вид литературы... Или не новый? Тебе видней, ты у нас самая большая чтица на свете, но мне такого прежде не приходилось читать.

Итак, в твоей повести два главных «розовых» героя – он и она – ангелы во плоти, благороднейшие люди, интеллигенты, нравственные эталоны. И вокруг них адский ад – жуткие дети и внуки, почти что бандиты с большой дороги, безнравственные ушлёпки и аморальные типы. А воспоминания о «розовом» и, безусловно, прекрасном прошлом, о бесконечно лирической молодости лишь подчёркивают их особость в мире кошмарной родни.

К примеру, воспоминания героини о том, как она родила свою жуткую дочь. Ах, ма, это твои личные воспоминания, я их узнала! Ты ведь мне многое рассказывала!

*«Она помнит, как ее принесли на первое кормление: страдающая, уже чем-то обозленная, запеленутая мордаха с кривым ротиком. Нянька, разносившая детей, каждому давала определение.*

*– Ну, твой не меньше председателя профкома будет, уже сразу видно – и взяточник, и подхалим.*

*– А твоя тоже далеко пойдет, глаз у нее цепкий, как у коты за мышью.*

*О Соне она говорила так:*

*– Очень мы твоей не нравимся, вся аж искривилась от отвращения, соснет она из тебя кровушки за всех противных ей людей сразу. У таких всегда мать в ответе за все.*

*Откуда она могла знать? Неграмотная нянька с лопатистыми руками и лицом, полным жалости и к тем, у кого младенцы мордахой выжили, и к тем, на кого бы глаза ее, няньки, вообще не смотрели».*

Как «приятно» мне было читать, спасибо, ма. Частично я знала эту историю, ты мне рассказывала про председателя профкома... и про то, как обо мне говорили, мол, а эта – жена председателя. Было смешно. Думаю, что ты рассказывала правду. И совершенно не верю в злобных и жутких нянек, пророчивших мамашам плохих детей. Ну, какие бы они там ни были, эти советские няньки, но не до такой же степени... Нет, мамулечка, то были твои собственные мысли при взгляде на новорожденную дочь. Вот как ты меня не полюбила с самого начала. Наконец, ты призналась.

Знаешь, я ведь сама тоже мама, лежала в роддоме... И вот подобные мысли и слова о детках вгоняют меня в ступор. Ведь в роддомах царит совершенно особая атмосфера, осо-

бое настроение. По крайней мере, когда я рожала свою доченьку, все мамочки были счастливые и обожавшие своих младенчиков. И няньки нормальные... Твои же фантазии – страшные какие-то, от них адом пахнет. Придёт же такое в голову! А ведь это ты, ма, та нянька, в твоей голове такие мысли.

Неужели я до такой степени стала тебе неприятна сразу, как только родилась? Почему? Что было не так? Ты не хотела меня рожать? Зачем же тогда?.. Только для того, чтобы ублажить нового молодого мужа? То есть, я – средство? Что ж, спасибо, что не ради квартиры, а ради папы. Но боюсь, ты и ему не угодила, ему я тоже категорически не нравлюсь. Или это твое влияние?

Видишь, сколько вопросов. Но вот за фразу *«Не виновата она, такая родилась»* тебе большое человеческое спасибо! Ты как бы сняла с меня вину, что ли? С себя ты её давно сняла, очевидно, сразу – вину за то, что у тебя «неправильная» дочь. А теперь, вроде как, и с меня? Ну, уродилась я такая, кривая-косая-косорылая, что ж с меня взять-то?

*«Сонька росла ребенком болезненным, вредным и требовательным. Но других теперь и не было».*

Ты точно знаешь? Что других не было? Ты ж всегда восхищалась этими самыми «другими» детьми, которым я не чета. Они и отличники, и красавцы, и старательные, и начитанные... Неужто ты взялась меня реабилитировать, ма? Мол, всё это поколение такое народилось – убогое. Но это же обобщение, нехорошо как-то, да и твои «страдания» сильно обесценивает, тебе не кажется? Ты последи за этим, не допускай таких проколов.

Вообще, эта твоя героиня, с которой ты, разумеется, ассоциируешь себя саму, странная какая-то женщина. По твоей задумке – практически святая, необыкновенная в своих моральных качествах. Но размышляет вот так:

*«Мир стал ухудшаться – это было для нее бесспорно, – зависть, злость, мстительность росли не по годам, а по минутам. Уходили в никуда начитанные мужчины и элегантные дамы, пусть и с „Красной Москвой“, типа мамы».*

Что же это столько в ангеле небесном злобы на мир, на современность, на людей? И что это за бред про начитанных мужчин и элегантных дам, которые куда-то там уходят? Это где в совке были элегантные дамы? Может, всё-таки немножко наоборот? И что за странная пара: начитанный мужчина и элегантная дама? Ма, ты что сказать-то хотела? Что это за шерочка с машерочкой? Какой-то, прости, бред в голове у тебя, ой, то есть, у твоей героини.

Ну, это ладно, примем за некую условность. Ты мне другое объясни: каким макаром эта святая женщина смогла вырастить такую кошмарную дочь? Ой, глупость я, конечно, спросила... Это ведь ты и я – героиня и ее дочь. И ты – святая, вырастила монстра – меня. Вот и растолкуй мне, как так могло получиться?

Потому что я просто такая родилась? И поэтому ни ты, ни я уже ничего не могли сделать? Ма, это какая-то эзотерика или мистика уже... Так и развивала бы эту тему, интересно же! К примеру, выяснилось бы, что родила ты меня от самого Сатаны. То есть, не ты меня, а героиня – дочку.

Кстати, с трудом можно себе представить, что такая добрая святая женщина, какой она была всегда – по мнению автора – столь недобро вспоминает о рождении своей единственной дочери. И что не вцепилась в волосы няньке, которая вдруг наговорила страшные гадости про родившегося младенчика. Нестыковки. Нелогично. Теряешь нюх, ма. От злости?

Но у тебя и «розовый» герой столкнулся с той же самой проблемой: у него, прекрасного человека, благородного и мудрого, вырос сын – абсолютный и дистиллированный урод. Ну, это

в продолжение твоей мысли о том, что все дети у вашего поколения – уроды. Тут с мистикой уже похуже – всё-таки отец известен и он не с копытами. Можно было бы придумать, что на самом деле этот начитанный мужчина вовсе не отец уроду, а просто вынужден был всю жизнь его воспитывать, потому что сволочь-жена, согрешившая всё с тем же Сатаной, наврала ему про его отцовство. Вспомнился классический фильм на эту тему – «Ребёнок Розмари», видела, ма?

В общем, при предлагаемом мною развитии событий твоя повесть выглядела бы более правдоподобной, честное слово! Хотя может быть ты и нашла поклонниц среди дам своего поколения – таких же, как ты, ненавидящих своих детей и злящихся на собственную неустрашенную старость. Впрочем, у тебя она вполне устроенная, что не сделало тебя ни на йоту добрей. А эта твоя повесть... Парадокс. Хорошо написанная (в смысле – хорошим языком, этого у тебя не отнять), но такая беспомощно-злобная, что автора даже становится жалко... если не знать близко этого самого автора. Почему беспомощная? Да потому что ни убедительная ни разу! «Розовые» герои только что сиропом не сочатся, при этом мысли у них, к примеру, о близких, самые что ни на есть жуткие. На мой взгляд завязатого мизантропа, у прекрасных и благородных людей подобные мысли и чувства вообще в душе и мозгу не рождаются. Но тебе как гуманисту, конечно, виднее, ха-ха!

Опять забылась, хех! Это же про меня история. Про тебя и про меня. Так вот: неубедительно. Но не для твоих читателей, конечно! Им это самое то. Ты их долго растила и пестовала, я знаю. Это особый вид «гомо советикус», усвоено с детства. Тройные стандарты и умение не замечать очевидного, когда это невыгодно, отрицать реальность, когда очень нужно, – ваш конёк.

Посидела и подумала вот над этим эпизодиком-кусочком:

*«Она на все жалобы дочери говорит всегда одно и то же: «Сонечка, это все нервы, сейчас на нервах все, и хорошие люди, и плохие. Прости их и не трави себе душу».*

*– Так я и знала... Получу что-то в этом духе. Знаешь, я от твоих поучений злею еще больше. Разве тебе иногда не хочется дать кому-нибудь по башке?»*

*Это вот «дать по башке» – у нее через фразу. Как она не боится слов: они же живые, в них энергия. В конце концов какое-нибудь «дать по башке» взорвется у нее самой под ногами, и это не так глупо, как кажется».*

Давай, ма, разберёмся – говорю я тебе через тысячи километров, не рассчитывая на диалог. И тем не менее... Ты по-прежнему злишься на меня – нескладуху-подростка, которая часто взбрыкивала, заливаясь бушующими гормонами, и нередко не по делу. Ты невежественна, ма, как огромное количество рядовых советских баб. Как тебе ни обидно, но ты в данном случае примитивна до стыда. Тебя злила и раздражала нахотленная девчонка, причём, злила всем: и ломающимся голосом, и прыщами, и нравом, и молодёжным сленгом. Ты не прощала этого девочке и не можешь простить до сих пор. Потому что такой вот – «всем бы да по башке» – я была только тогда. И кому, как ни тебе, знать это лучше других...

Все мои «примочки» последних лет тебе известны досконально. Я была душой – делилась с тобой своими страхами и мыслями. Впрочем, что толку? Ты выбросила из головы то, что тебе невыгодно.

Но ты не можешь не помнить, как я говорила о любви к людям, о том, что очень раскаиваюсь в своих подростковых недобрых мыслях и словах (кстати, под твоим мракобесным влиянием!), что чувствую себя виноватой и больше никогда ни на кого не злюсь, никого не ненавижу, жалею людей, уважаю... Скажешь, что этого не было между нами? Вот этих разговоров, моих слёз, моего раскаяния? Неужели солжёшь?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.